

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК МИРОПОНИМАНИЕ

© 2017

Борис Михайлович Гаспаров

Колумбийский университет, Нью-Йорк, 10027, США; Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербург, 190121, Российская Федерация; bg28@columbia.edu

Противопоставление «лингвистики языка» и «лингвистики речи» у Соссюра предполагает отношение к языку как к предмету «теоретического» и «практического» познания; в его основе лежит стратегическое различие чистого (спекулятивного) и практического разума у Канта. Однако следующее за Соссюром поколение восприняло его идею в духе авангардной интеллектуальной и эстетической революции 1910—1920-х гг. Соссюровское умозрительное представление языка как структуры (представление, которое для него было неотделимо от осознания фундаментальных ограничений теоретического познания) было понято как прорыв к трансцендентной сущности языка, возвышающейся над его эмпирическим бытием, со всей свойственной последнему непоследовательностью и нестабильностью. Катастрофические исторические события первой половины XX в. способствовали превращению этого утопического взгляда на язык в своего рода защитную интеллектуальную позицию, ищущую посреди царящего хаоса убежища в имманентном порядке, построенном теоретическим разумом на основе им же заданных постулатов, — порядке, который перекрывал бы и отбрасывал как нерелевантную всякую эмпирическую действительность, не соответствующую этим постулатам. Из чисто умозрительного теоретического конструкта, структурная и генеративная лингвистика (а вместе и вслед за ней — и структурная поэтика и семиотика) превратилась в целостную идеологию или позицию миропонимания, имевшую глубокое воздействие на самосознание тех, кто его исповедовал.

Ключевые слова: авангардная утопия, Кант, практическое познание, Соссюр, структурализм, теоретическое познание, теория как идеология, язык и речь

THEORETICAL LINGUISTICS AS A WORLDVIEW

Boris M. Gasparov

Columbia University, New York, 10027, USA; National Research University Higher School
of Economics, St. Petersburg, 190121, Russian Federation; bg28@columbia.edu

F. de Saussure's opposition between "linguistics of language" and "linguistics of speech" presented language as an object of "theoretical" and "practical" cognition, a division that followed the strategic division of pure (speculative) and practical reason by Kant. The next generation, however, perceived Saussure's idea in the spirit of the avant-garde intellectual and aesthetic revolution of the 1910^s—20^s. Saussure's speculative vision of language as a structure (which for him was inalienable from the awareness of its constitutional limitations) was understood as a breakthrough into the transcendent order that dominated over all the inconsistencies and perpetual instability of the empirical data. Catastrophic events of the first half of the twentieth century helped to transform this avant-garde linguistic utopia into a defensive position of a mind seeking, amidst reigning chaos, refuge in an immanent intellectual order built on its own premises, an order that allowed to repel as irrelevant any empirical reality that did not fit into those premises. From a speculative construct, structural and generative linguistics (alongside poetics and semiotics) eventually turned into a comprehensive ideology, a worldview that had a profound impact on self-consciousness of its adherents.

Keywords: avant-garde utopia, Kant, language and speech, practical cognition, theoretical cognition, Saussure, structuralism, theory as ideology

1. Язык «в себе и для себя»: «Курс общей лингвистики» и его читатели

Начнем с изречения, знакомого многим:

...la linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même (...единственный и подлинный предмет лингвистики есть язык, рассматриваемый в себе самом и для себя самого).

Процитированная фраза заключала собой вышедшую в 1916 г. книгу, на титульном листе которой значилось: «Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale*, publ[ié] par Charles Bally & Albert Sechehaye, avec la collaboration de Albert Riedlinger». Русскоязычному читателю она знакома в более эlegantной версии в переводе под редакцией А. А. Холодовича (а читателям старшего поколения — в переводе А. М. Сухотина); я, однако, стремился по возможности приблизить русский текст к оригиналу, поскольку, как увидим ниже, каждая его деталь имеет определенный философский смысл.

Как известно, книга Соссюра не содержала практически ни единого слова, непосредственно написанного ее титульным автором. Она представляла собой компиляцию, составленную после смерти Соссюра его младшими коллегами на основании студенческих записей трех лекционных курсов по общей лингвистике, которые он читал в Женеве в 1906—1911 гг. Это обстоятельство несколько не повлияло на тот факт, что и книга в целом, и в частности заключающий ее острый афоризм сделали настоящим знаменем радикально нового теоретического подхода к языку и шире — ко всему полю социальных и культурных явлений, получившему родовое имя «структурализм». Направление гуманитарных исследований, прямо или косвенно исходившее из структурного подхода к предмету, господствовало в мировой интеллектуальной жизни в течение полувека, вплоть до новой революционной смены доминантной парадигмы в конце 1960-х — 1970-е гг., само название которой, «постструктурализм», подчеркивало ее деривативную связь с предыдущей эпохой.

В конце 1950-х гг. Джон Руперт Фёрс иронически подразделял всех современных ему лингвистов на «соссюрианцев», «анти-соссюрианцев» и «пост-соссюрианцев» [Firth 1964: 179]. Не будет преувеличением сказать, что все крупные явления в теоретической лингвистике того времени, от американского лингвистического бихевиоризма до франко-швейцарской социальной школы, датской глоссематики, пражско-московского функционализма, развивались в интенсивном диалоге с комплексом идей, провозглашенных — нередко в конспективной, афористически-пунктирной форме, типичной для устного «курса», — в книге Соссюра. Из сферы собственно лингвистики принцип «структурального анализа» быстро распространился в качестве метода описания словесных и несловесных художественных текстов, и далее в широкое, практически безграничное поле разнообразных аспектов кодифицированного социального поведения, объединяемых инклюзивным понятием «культуры».

Поколениям читателей и комментаторов Соссюра, последователей его идей, даже тех, кто просто слышал о нем и его книге как об одном из важнейших явлений интеллектуальной истории XX в., выбранные места из «Курса» были памятны в качестве знаков-указателей, отмечавших мыслительный ландшафт эпохи. Почетное место в этом катехизисе структурализма принадлежало заключительной фразе книги: она звучала как последнее слово, завещанное провозвестником новой эры и сообщенное после его ухода устами учеников.

Идеи, легшие в основу «Курса», Соссюр разрабатывал в 1890-е гг., в эпоху критической ревизии постулатов позитивистской науки и возродившегося интереса к Канту. Его заметки тех лет так и остались разрозненными записями¹, конечным итогом которых для их автора явился вывод о невозможности — в силу уникальных, по его мнению, свойств

¹ Хотя изучение рукописных заметок Соссюра начал Р. Годель еще в 1950-е гг. [Godel 1957], относительно полное и упорядоченное их издание состоялось лишь полувеком позднее [Saussure 2002].

языка в ряду предметов познания — представить язык в качестве предмета философски обоснованной теории². По собственному признанию Соссюра, курсы общей лингвистики, которые ему позднее пришлось читать силою университетских обстоятельств, доставили ему много «хлопот», в частности потому, что к этому времени он уже около 15 лет как оставил этот предмет³, переключившись на занятия германским средневековым эпосом⁴, индустской философией⁵, а как раз в те годы, когда он преподавал лингвистику, — на лихорадочно интенсивную (и также закончившуюся признанием поражения) разработку теории «анаграммы». Но в то время, когда идеи, к которым Соссюр пытался подойти в 1890-е гг., стали публичным достоянием благодаря вышедшей в свет книге, они упали на плодородную почву авангардных революций в философии, науке, эстетике и художественной практике, которыми была заполнена первая четверть XX в.

Это было время взрывоподобных откровений, внезапно, как по мановению магического жезла, преображавших всю картину соответствующего предмета познания или художественного творчества. На смену ощущению последовательного развития познающей мысли и эстетических вкусов пришла фигура интеллектуального или художественного мессии, мгновенным творческим озарением проникавшего сквозь толщу привычных представлений, всего, дотоле казавшегося самоочевидным, обнаруживая в предмете его скрытую сущность. С глаз очевидцев как будто спадала пелена повседневной рутины; им оставалось только удивляться, как они раньше не замечали того, что теперь мгновенно представилось их взгляду как нечто явное и непреложное.

Знаменитый афоризм Пикассо «*Je ne cherche pas, je trouve*» («Я не ищу, я нахожу») ярко отразил в себе умонастроение эпохи. Авангардный творческий мессианизм совмещал в себе идею неокантианской философии и модернистской логики о первичности конструирующей мысли, призванной «отыскать» предмет интеллектуального либо художественного познания в аморфном жизненном опыте, с одной стороны, и ницшеанский образ сверхчеловеческой творческой личности, воспаряющей в горние высоты духа, чтобы оттуда увидеть нечто, недоступное обыденному зрению, с другой. Примерам авангардных революций, разворачивавшихся по этой формуле, поистине не было числа как в научной, так и в художественной сфере. Радикальный пересмотр оснований математики, революция в теоретической физике, открытие могущественных сил подсознания шли рука об руку с преодолением предметности в живописи и тональной гармонии в музыке, прорывом в заумный поэтический язык, первыми триумфами кинематографа, а также с революционным поворотом в эстетических взглядах на предмет искусства.

В этом контексте призыв сделать «единственным и подлинным предметом лингвистики» язык в его внутренней сущности, язык, созерцаемый в качестве имманентной структуры, звучал как очередной прорыв в мир трансцендентных сущностей, скрытых под хаотической поверхностью эмпирического бытия языка, с его беспорядочной сменяемостью ситуаций, намерений, особенностей личности говорящих и тому подобных «внесистемных» факторов. Именно так была прочтена книга Соссюра поколением, вышедшим на авансцену науки о языке в 1920-е гг.⁶. Новому зрению язык представал по ту сторону обыденной эмпирической реальности того, как люди «говорят». Не менее важным было все то, что это сущностное зрение **отказывалось** видеть в предмете. Все, что в языковой эмпирии либо не соотносилось с постулированным имманентным порядком, либо сознательно исключалось из рассмотрения (нередко с туманными обещаниями вернуться к этим «внешним»

² См. о неокантианском философском контексте размышлений Соссюра о языке как предмете лингвистики [Gasparov 2013: Pt. II, Ch. 1].

³ Характерна в этом отношении беседа Соссюра с одним из слушателей весной 1911 г., в которой отразилось его умонастроение на исходе последнего из прочитанных им курсов [Gautier 2005].

⁴ Публикация [Saussure 2003].

⁵ Публикация по материалам Гарвардского архива Соссюра [Saussure 1994].

⁶ Широкий исторический обзор различных прочтений «Курса» можно найти в работе [Harris 2001].

явлениям в будущем, после того как основная работа по моделированию внутреннего структурного порядка будет выполнена), либо просто оставалось незамеченным. Призыв заключительного афоризма «Курса» (как его понял поколение 1920-х гг.) очистить «единственный и подлинный» (в стандартном русском переводе «истинный») предмет лингвистики от вопросов, к нему не относящихся, находил выразительный резонанс в заключительном тезисе другой замечательной книги, вышедшей в свет в 1921 г., написанной во время Первой мировой войны в лагере военнопленных, — «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen» («О чем невозможно говорить, о том следует молчать») [Wittgenstein 1921/1974: Гл. 7].

Едва ли не самые мощные всходы идеи Соссюра дали на русской почве — и в самой России предреволюционных и первых послереволюционных лет, и в особенности в среде русской эмиграции. Объяснить это можно, прежде всего, тем известным фактом, что идеи, близкие постулатам соссюровского «Курса», высказывал Бодуэн де Куртене в казанский и дерптский (тартуский) период своей научной и педагогической деятельности⁷. Противопоставление «фонемы» как структурной единицы звукового строя языка эмпирическим «звукам» речи, разработанное Казанской школой в 1880-х гг., легло в основу фонологии Пражской школы, где это различие структурного и эмпирического планов звуковой формы, «очищенное» от апелляции к психологии говорящих, проецировалось на разделение языка и речи у Соссюра.

Другим важным фактором послужило то обстоятельство, что новый подход к языку, направленный на выявление скрытой в нем изначальной смысловой энергии, возник в недрах русского футуризма в 1910-е гг. Из этой творческой среды вышла концепция «искусства как приема», позволившая определить искусство в качестве предмета целенаправленного теоретического анализа. Идея Шкловского о роли искусства как обновляющей силы, представляющей предметы в «странном» свете и тем самым вырывающей их из автоматизма жизненной рутины, заставляя с обновленной остротой переживать их смысл [Шкловский 1917], соответствовала всему пафосу авангардных откровений. Из вторичного «отражения» жизненного опыта искусство превращалось в имманентную сущность, способную, напротив, преобразить сам этот опыт, подобно соссюровскому «языку», способному по-новому увидеть эмпирическую действительность «речи». Внутреннее сходство понятия «приема» как экспликации сущностной природы литературы и понятия имманентной структуры как сущностной основы языка была удачно выражена в раннем сочинении Якобсона, утверждавшего, что история литературы «наконец, нашла своего героя»; герой этот — не эмпирически обозримая литература (разговоры о которой, согласно полемическому утверждению Якобсона, представляют собой всего лишь род критической *causerie*⁸), а «литературность», т. е. внутренняя организация литературных текстов [Якобсон 1921/1981].

Но был у восприятия «Курса» на русской почве еще один, пожалуй, самый острый аспект. Н. С. Трубецкой, основатель Пражской фонологии, был в то же время одним из основоположников Евразийской философии и Евразийского движения, получившего значительное распространение в среде русской эмиграции в 1920—1930-е гг. Программное сочинение Трубецкого, положившее начало движению, книга «Европа и человечество», вышла в свет в 1920 г. в Софии [Трубецкой 1920]. Основное положение евразийства состояло в интегрирующем взгляде на все обширное пространство «Евразийского» континента как на единый гео-исторический конгломерат, сама физическая природа которого — гигантские равнины, способствующие массовому передвижению народов, — вызывала к жизни громадные государственные образования, способные объединить множество народов со всем

⁷ Соссюр был знаком с идеями Бодуэна де Куртене, с которым он лично встречался в Париже [Слюсарева 1975; Sljusareva 1971].

⁸ «До недавнего времени история искусства, в частности история литературы, была не наукой, а *causerie*. Следовала всем законам *causerie*. (...) Говорить о жизни, об эпохе на основании литературных произведений — такая благодарная и легкая задача» [Якобсон 1921/1981: 723].

многообразием их языков, культур и религиозных верований. В этой перспективе история Российской империи теряла самостоятельное значение, превращаясь в одну из транзитных манифестаций более масштабного гео-исторического явления — Евразийского союза народов, единство которого определяется фундаментальными условиями обитания. Крушение Российской империи и приход ей на смену Советского Союза оказывался таким же «поверхностным» явлением, не затрагивающим внутреннюю сущность этого исторического конструкта, каким в свое время было крушение монгольской империи и возвышение Руси.

Терапевтическое значение этой идеи в тех условиях, в которых она возникла, была вполне очевидной; историософский трактат лингвиста Трубецкого создавался практически в процессе бегства автора с Дона на Балканы. Важно, однако, что для самого Трубецкого его историософская концепция находилась в гармонии с новой лингвистикой, провозглашенной курсом Соссюра, в развитии которой ему в скором времени предстояло сыграть выдающуюся роль. Евразийский конгломерат представлялся Трубецкому не только как геополитическое образование, но и как особый склад ума, то, что он называл «туранской» ментальностью. Ее отличительной чертой, согласно Трубецкому, следует считать особую эпическую масштабность мышления, способного охватить мыслимый предмет в его целостности, возвысившись над хаотическим множеством конкретных эмпирических деталей. В этом туранский менталитет противоположен «западному» или «романо-германскому» ментальному типу, для которого, напротив, характерна привязанность к эмпирическому буквализму. Когда начиная с середины 1920-х гг. Трубецкой и его коллеги по Пражскому лингвистическому кружку выступили с концепцией фонологии, последовательно противопоставляемой эмпирической фонетике, Трубецкой отчетливо связал это важнейшее достижение лингвистического структурализма с особенностями интеллектуального созерцания, свойственными туранскому уму. Только последний, утверждал он в книге «Проблемы русского самопознания» [Трубецкой 1927/1999], оказался способен возвыситься над эмпирией звуковой материи, в которую тысячелетиями была погружена описательная фонетика, и обнаружить имманентные структурные свойства звуковых единиц языка, для которых звуки речи служат лишь поверхностным выражением [Gasparov 1987].

Таковы были философские, социальные, психологические факторы, определившие прочтение книги Соссюра в духе авангардного радикализма. Полвека спустя, когда интеллектуальные основания той эпохи, эмблематическим выражением которых служили многие афоризмы «Курса», сделались одиозными в свете постмодернистской критики, широко распространилось мнение, что эти ныне деонсированные лозунги принадлежали вовсе не Соссюру, а издателям книги, якобы добавившим их в текст по собственному усмотрению. Обвинения издателей, в особенности Балли, в том, что они «фальсифицировали» и дух, и букву учения Соссюра, слышатся ныне со всех сторон⁹.

В ряду высказываний «Курса», отвергаемых текстологической соссюрологией, его заключительной фразе принадлежит почетное место. Туллио де Мауро, издавший «Курс» с пространными комментариями, прямо заявляет: «Добавление заключительной фразы служит крайним примером редакторской подмены аргументов Соссюра, которая должна быть признана частично ответственной за тенденцию структурализма к имманентности, в особенности в его пост-Блумфилдианской разновидности в США» (перевод наш. — Б. Г.) [Saussure 1967: 476—477].

Действительно, целиком такая фраза не встречается в существующих записях Соссюра. Однако даже беглый просмотр и этих записей, и других разделов самого «Курса» позволяет обнаружить множество высказываний относительно «истинного и подлинного» (*vraie et véritable*) предмета лингвистики, или о языке, *envisagée en elle-même*.

⁹ В качестве лишь одного примера приведу утверждение Симона Буке, много сделавшего для издания рукописного наследия Соссюра. Буке назвал «Курс» «глубочайшей и гнуснейшей фальсификацией» учения Соссюра (*la falsification opérée par les rédacteurs ... est plus profonde et plus insidieuse*) [Bouquet 1997: ii].

Здесь не место вдаваться в детали этой критики, которая в отношении методологии представляется мне мало обоснованной, а по-человечески — глубоко несправедливой¹⁰. Замечу лишь, что сама готовность принимать как абсолютную данность любое слово, записанное на листе бумаги самим Соссюром или его слушателями, не учитывая ни различные (и зачастую малоизвестные) обстоятельства появления того или иного источника, ни их по большей части разрозненный и фрагментарный характер, курьезным образом напоминает о догматическом подходе к «тексту» (и именно записанному тексту) как непреложной данности, бывшее как раз характерной чертой структурального подхода. В этом отношении филологическая критика книги, состоящая в дроблении ее текста на отдельные фрагменты с целью их проверки на аутентичность, вполне симметрична ее избирательному прочтению в рамках структуральной доктрины как набора тезисов-афоризмов¹¹.

При всех обстоятельствах, какова бы ни была степень аутентичности «Курса» с точки зрения соответствия его текста всему тому, что студенты и коллеги Соссюра могли услышать от него и на лекциях, и в частных беседах, это никак не изменяет того факта, что именно данная книга легла в основу мощного интеллектуального движения, а ее избранные афоризмы стали для адептов этого движения своего рода символом веры. То, что случилось в истории идей, само по себе является совершившимся фактом; интерес вызывает лишь то, как это случилось. С этой точки зрения представляется не праздным вопрос, какое сообщение предлагает нам книга под названием «Cours de linguistique générale» — именно книга как некоторое континуальное целое (сами окказиональные противоречия и несоответствия в изложении которой являются ее органическим свойством в качестве записанного лекционного курса), а не как интеллектуальный конструкт, составленный из «выбранных мест», и тем более не воображаемые интенции воображаемого «единственного и подлинного» Соссюра.

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, стоит прибегнуть к способу, смущающему своей крайней старомодностью, а именно: прочитать с достаточной степенью внимания то, что написано, не спеша извлекать из континуума отдельные пункты с целью их «рефутации» (отвержения) или афористического подчеркивания. Как об этом скажет Витгенштейн 30 лет спустя после «Трактата»: «...denk nicht, sondern shau!» («не думай, а смотри!») [Wittgenstein 1953: I, § 66]. В частности, можно задаться вопросом: о чем, собственно, говорилось в заключительной главе книги и каким образом ее содержание разрешилось таким драматическим финалом?

Нужно признать, что само заглавие заключительной главы: «Семьи языков и лингвистические типы» — не приглашает к внимательному прочтению. Ее объявленная тема является неременной принадлежностью учебных курсов «введения в языкознание»; как правило, такой обзор содержит базовую информацию, тривиальную для профессионального лингвиста. Фактические сведения, предлагаемые в последнем разделе «Курса», не являются исключением. Однако Соссюр использует факт разнообразия языковых структурных типов для того, чтобы еще раз подтвердить один из центральных тезисов о произвольности языкового знака. В контексте типологии языков этот тезис принимает определенный оборот: он позволяет подчеркнуть независимость структуры языка от каких-либо действий или характера его носителей. Язык стихийно произволен и в своей композиции, и в том, какое

¹⁰ См. подробнее [Gasparov 2013: Pt. I, Ch. 2.3].

¹¹ Характерным примером новейшего направления соссюрологических исследований стало монументальное «критическое» издание «Курса» Рудольфом Энглером [Saussure 1968], легшее в основу всех дальнейших текстологических разысканий. Энглер разделил текст книги на 3 281 фрагмент, расположив их столбцом в левой колонке своего издания. Следующие четыре колонки составляли заметки самого Соссюра и записи, извлеченные из студенческих конспектов каждого из трех прочитанных им курсов. Фрагменты в различных колонках, между которыми обнаруживалось достаточно близкое соответствие, располагались параллельно; в случае отсутствия соответствия в колонке оставался пробел. При таком способе презентации реально существующая книга фактически переставала существовать как континуальное целое.

направление он примет в своем развитии. В сфере языка царит принцип «слепой эволюции»: «не существует никаких неотъемлемых признаков; постоянство само есть продукт случайности». Если в какой-то отрезок времени язык складывается в химерическое подобие некоего логического порядка, это состояние может распасться в любой момент.

По мере того как автор углубляется в эти рассуждения, в его голосе начинают звучать ноты раздражения и гнева, редко прорывающиеся на поверхность печатного текста, но хорошо знакомые тем, кто читал приватные записи Соссюра. Риторический вопрос: по какому праву (*au nom de quoi*) заявляются «претензии навязать какие-либо ограничения процессу, не знающему никаких ограничений»? — звучит уже явно на повышенных тонах.

Характерным образом волна раздражения выносит на поверхность текста имя, одиозное для Соссюра, многократно появляющееся в его заметках в обрамлении таких эпитетов, как «глупость» (*stupidité*), «тупица» (*hébété*), «ребяческий» (*puéril*) и т. п., — имя Августа Шлейхера с его идеей языка как целостного организма. Однако гнев Соссюра имел и другой, более близкий ему источник. Брат Соссюра Леопольд был всемирно известным синологом. В своих ученых трудах Л. де Соссюр отстаивал идею неравноценности строя различных языков с точки зрения тех мыслительных структур, которые в них отражены и закреплены. Вполне предсказуемым образом флективный строй индоевропейских языков оказывался в наибольшей степени способствующим глубине и динамизму мысли. На противоположном полюсе помещались агглютинативные языки, но в особенности китайский, чье отсутствие флективного варьирования словоформ знаменовало собой, по мнению ученого, статичность мышления, продуктом которого являлась культура, неспособная к развитию. В колониальной политике Соссюр-младший видел не только цивилизационное благо, но и духовную миссию, в силу которой народы, находящиеся на высоте мыслительного потенциала, заложенного в структуре их языков, призваны подать помощь и руководство тем, чей «национальный дух» оказался способным лишь на второсортное языковое творчество [L. Saussure 1899].

Именно такому взгляду на язык (оказавшемуся, как всякая вульгарность, необыкновенно живучим вплоть до нашего времени) адресует Соссюр свое гневное: «*au nom de quoi?*».

В заметках Соссюра можно наблюдать одну печальную закономерность, послужившую едва ли не главной причиной того, почему всей этой массе лихорадочных записей так и не удалось выйти из состояния фрагментарных набросков. Чем больше пишущий углубляется в свои рассуждения, чем ближе, как он чувствует, он подходит к самой сути предмета, тем сильнее его охватывает гнев, досада и даже отчаяние по поводу «тупости» тех, кто отказывается замечать очевидное и с самодовольным видом повторяет вульгарную бессмыслицу. Когда его раздражение достигает точки кипения, Соссюр выбрасывает, как выстрел, категорическое утверждение на предельной эмпазе, как бы в отчаянной попытке спасти нить своей мысли, перед тем как она окончательно захлебнется в захлестывающем ее море глупости и непонимания. «*The rest is silence*»: очередной фрагмент на этом либо внезапно обрывается, либо через короткое время как бы затухает после тщетных попыток пишущего вернуться на путь своих рассуждений.

Именно так, совершенно типичным образом, обстоит дело с заключительным утверждением «Курса» — включая и тот факт, что за этим риторическим выстрелом наступает молчание. Он прозвучал в момент тотальной негативности, когда в пылу полемики с теми, кто пытается «навязать» языку то, что ему несвойственно, Соссюр оказывается лицом к лицу перед фактом отрицания у языка вообще каких бы то ни было субстанциальных свойств. Мы можем теперь процитировать полностью, без привычного усечения, предложение, заключившее собой книгу:

Des incursions que nous venons de faire dans les domaines limitrophes de notre science, il se dégage un enseignement **tout négatif**, mais d'autant plus intéressant qu'il concorde avec l'idée fondamentale de ce cours: *la linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même*.

Из экскурсов, которые мы совершили в пограничные области нашей науки, выявляется урок **всецело отрицательный**, но тем более интересный, что он соответствует

основной идее этого курса: *единственный и подлинный предмет лингвистики есть язык, рассматриваемый в себе самом и для себя самого*¹².

Выражение «*envisagée en elle-même*» отсылает, конечно, к знаменитой формуле в «Критике чистого разума», относящейся к состоянию мира, внеположному спекулятивному познанию с его изначально заданными категориями. Выражение «вещь в себе», ставшее бытовой идиомой, в сущности, неточно передает мысль Канта: оно является сокращением (которое, впрочем, и сам Кант иногда употреблял) более полной формулировки: «*Ding an sich selbst betrachtet*», т. е. «вещь, рассматриваемая (созерцаемая) в себе самой» [Prauss 1974: 23—30]. Соссюр в точности следует и букве, и смыслу кантовского определения. Речь идет не о языке как некоей объективно данной «вещи», пребывающей в себе и для себя, то есть в мире своих собственных внутренних закономерностей, а именно об акте «созерцания» языка по ту сторону каких-либо категориальных ограничений, то есть внеположного логическому концептуализированию.

Категории пространства и времени служат логическому разуму тем фундаментом, который позволяет охватить предмет как целое, подчиняющееся универсально действующим законам; на этом пути разум выстраивает последовательный ряд все более сильных моделей, рассчитывая таким образом постепенно приблизиться к полному постижению предмета. Но эти же категории определяют собой границы того спекулятивного конструкта предмета, который способно дать теоретическое познание; за его пределами всегда остается нечто, принципиально ему внеположное именно в силу особенностей логического мышления. Это «нечто» — кантовская «вещь» и, соответственно, соссюровский «язык» — может быть «созерцаемо» (*betrachtet, envisagé*) в представлении, но не может быть «схвачено» теоретической мыслью.

В отличие от чистого логического разума, практический разум способен вступить в контакт с вещами, каковы они есть по ту сторону их спекулятивного конструирования. В своей практической деятельности, утверждает Кант во «второй критике» («Критике практического разума»), люди поступают так, как если бы для них не существовало категориальных ограничений. Между любым теоретическим конструктом языка как некоего закономерно построенного целого и «языком как таковым» всегда остается непреодолимая пропасть. Эта пропасть не существует в непосредственном практическом ощущении языка говорящими. Именно таким, пребывающим в счастливой гармонии с языком в своей речевой деятельности, предстает говорящий субъект в «Курсе» Соссюра: в каждый момент речи он ощущает себя «перед лицом состояния» языка, соответствующего именно этому моменту речи. Если бы человек мог прожить две тысячи лет, замечает Соссюр в одной из рукописных заметок, он мог бы, изъясняясь на современном французском языке, продолжать оставаться в убеждении, что язык, которым он «владеет», — это тот самый язык, на котором он беседовал с Цицероном. Однако это практическое ощущение языка, именно в силу своей слиянности с каждым моментом, фрагментарно и окказионально. Оно дробится на хаотическое множество частных ситуаций, каждая из которых адекватна самой себе.

Таков «урок», который и заключительный обзор, и весь «Курс общей лингвистики» пытался передать всем тем, кто был бы готов совершить вместе с ним экскурс в «пограничные области» философского познания языка. Кантовская идея вещи, созерцаемой в себе самой, проводила непреодолимую черту между тем, как вещь может **мыслиться** теоретическим (спекулятивным) разумом, и тем, какой она выступает в качестве практической **реальности**. Ошибка теоретического мышления, вскрытая критикой Канта, состоит не в том, что оно представляет свой предмет в качестве мыслительного конструкта, — такое представление является и непременным свойством, и задачей теоретического познания; но в том, что оно выдает этот свой конструкт за **действительность**, каковой он по определению не является. Следуя Канту, Соссюр проводит черту между теоретическим моделированием языка

¹² Курсив автора; выражение «всецело отрицательный» выделено мной.

и языком как таковым, в том его состоянии, в каком он является в актах неререфлексирующего практического взаимодействия с ним его носителей. Какие бы модели ни выстраивала лингвистическая наука, какое множество аспектов и признаков ни обнаруживала в языке, она не должна забывать, что ее «единственный и подлинный предмет» остается по ту сторону ее построений.

Конечно, этот «всецело отрицательный урок» сам мог бы стать предметом критической рефлексии. Для нас, однако, важна сейчас историческая судьба этой фундаментальной идеи «Курса». Нетрудно увидеть, насколько мало нашлось желающих прислушаться к сути этого сообщения в эпоху тотальных катастроф и интеллектуальных переворотов, которыми было отмечено течение большей части двадцатого столетия. Появление посмертной книги Соссюра представлялось современникам явлением лингвистического Заратустры. В нем увидели обещание магической формулы, способной мгновенно пересоздать весь ландшафт языковой действительности по воле разума, а отнюдь не призыв с полной глубиной осознать положенные теоретическому познанию пределы.

В этом контексте образ языка в себе и для себя представлял не как «отрицательный» пограничный сигнал, подобный кантовской критике, а напротив, как заново построенный предмет, открывающий перед теоретической мыслью заманчивые новые горизонты его освоения и описания. Как никакое другое современное ему событие в области теории и философии языка (от Пирса, Фреге и Витгенштейна до Бодуэна, Шухардта, Фосслера, Марра), «Курс» Соссюра позволил теоретической лингвистике (а вместе с ней и вслед за ней — поэтике и культурной антропологии) стать полем типичной авангардной утопии. Этим можно отчасти объяснить вызванный книгой колоссальный резонанс, с магической быстротой пронизавший линии фронтов и наглухо закрывавшиеся политические границы¹³. Сама «монтажная» фактура книги, с ее лапидарными декларациями, определениями, не всегда согласующимися друг с другом, тезисами, остающимися без продолжения, и неожиданными экскурсами в, казалось бы, малосущественные побочные вопросы, способствовала избирательному чтению, позволявшему читателю увидеть в ней то, что он испытывал потребность увидеть.

2. От имманентности языка к имманентности теории: мыслительный конструктор как субститут действительности

Обретя свой мыслительный «дом» в виде концепта имманентной структуры языка, теоретическая лингвистика принялась активно его обживать и обустривать. Огромный вес в определении того направления, который принял этот процесс, принадлежал работам Р. О. Jakobsona. Именно Jakobsonу, первоначально в тесном сотрудничестве с Трубецким, суждено было сыграть выдающуюся роль в разработке конкретных атрибутов имманентной структуры языка «в себе», ее различных разделов и уровней. Jakobsonу принадлежало и более строгое (и вместе с тем более абстрактно-имманентное) пересоздание фонологической структуры в параметрах бинарных оппозиций, и перенесение бинарного принципа в сферу морфологических категорий, и наконец, создание бинарно организованной типологии языковых модусов коммуникации, в частности поэтической функции [Jakobson 1960]. Усилиями Jakobsona и целой плеяды выдающихся европейских и американских лингвистов 1930—1950-х гг. понимание языка как имманентной структуры приобрело характер насыщенного мыслительного ландшафта, детально обставленного конкретными понятиями и аналитическими приемами. Чем большим числом конкретных концептуальных «предметов» заполнялся этот конструктор теоретической мысли, тем более живым и непосредственным становилось ощущение его действительности в качестве предмета познания; тем, соответственно, все более отдаленной, туманно-маргинальной, почти неосозаемой представлялась «внесистемная действительность», все то, что лежало за пределами структурно организованного концептуального пространства.

¹³ См. о реакции современников в разных странах на книгу Соссюра [De Mauro 1967: 334—343].

Созданный спекулятивный конструкт превращался в самодостаточную реальность, имманентную самой себе. Лингвистика, и вслед за ней поэтика и семиотика культуры, были заняты интенсивными поисками ответов, обладающих максимальной «объяснительной силой», на вопросы, ею самой поставленные. Читателям, несомненно, памятны наиболее выдающиеся из многочисленных деклараций этого принципа — от тезисов Ю. Н. Тынянова и Якобсона «Проблемы изучения литературы и языка» [Тынянов, Якобсон 1928] или «постулатов» Л. Блумфилда до классических работ послевоенного лингвистического структурализма (а начиная с 1960-х гг. — генеративной грамматики) и нового направления в изучении культуры, суммарным выражением которого явилась концепция «семиосферы» Ю. М. Лотмана [1996]. Принцип языка в себе самом и для себя самого, понятый как приглашение теоретической мысли отложить попечение обо всем, что лежит за пределами ею же определенных параметров, обратился, по сути, в принцип лингвистической и семиотической теории «в себе самой и для себя самой».

Выше уже говорилось о духе авангардной утопии, первоначально вызвавшем к жизни это движение. Однако по мере развития событий между мировыми войнами к этому первичному импульсу прибавились другие мотивы. Ситуация в мире повсеместно начинала выглядеть так, как будто весь мир все глубже погружался в хаос самоуничтожения: экономическая депрессия, триумфальное возвышение диктаторских режимов, массовые репрессии и массовое бегство, и наконец, в качестве закономерной кульминации, катастрофическая всеобщая война, — казалось, разумное начало, торжество которого предрекала модернистская философская, культурная и социальная утопия, исчезает в пучине бессмысленного разрушения. В этом контексте визионерская идея, утверждающая триумф глубокого разумного порядка над всеми хаотическими случайностями эмпирического существования, приобретала сильнейшее терапевтическое значение. Она становилась единственным якорем, удерживающим сознание в мире разумного посреди грозящего его поглотить хаоса. Подобным же образом столетием ранее головокружительные перипетии Французской революции, террора, Империи, наполеоновских войн, реставрации и новой цепи мятежей и революций по всей Европе вызвали к жизни идею тотального детерминизма мирового исторического процесса.

В воспоминаниях Якобсона, записанных в диалоге с К. Поморской, прекрасно выражена связь между жизненным ощущением на грани гибели и обостренного мысленного устремления к идеалу тотального порядка, скрытого в глубинах бытия. К 1937—1938 гг., вспоминает Якобсон, он пришел к выводу, что структурная фонология, над разработкой которой он трудился вместе с Трубецким и чешскими коллегами в течение предыдущего десятилетия, все еще остается слишком эмпиричной, и это не позволяет ей полностью реализовать заложенный в ней объяснительный потенциал.

Идея структурной фонологии, как она представлена в обобщающей книге Трубецкого, над завершением которой он трудился как раз в эти годы, выдвигала на передний план различия между фонологическими структурами отдельных языков. Конфигурация системных отношений между фонемами уникальна для каждого языка, подчеркивал Трубецкой, она позволяет увидеть системные различия даже у звуков родственных языков, которые эмпирическому слуху могут представляться почти тождественными. Например, заднеязычные /к/, /х/ в русском и украинском, практически тождественные в произношении, различаются своим системным положением: в русском /к/ противостоит /г/ по признаку глухости-звонкости, оставляя /х/ по этому признаку в изоляции, тогда как в украинском /х/ противостоит /һ/, оставляя в изоляции взрывной /к/.

Именно эта множественность языковых фонологических систем представилась теперь Якобсону недостаточно глубоким уходом с эмпирической поверхности в сущностную глубину предмета. Невозможно сказать об этом новом прорыве в мир трансцендентных сущностей более выразительно, чем это сделал сам автор: «В драматической обстановке 37-го и 38-го годов, предвещавшей близость роковых событий, мысль невольно отвлекалась от побочных академических тем и сосредоточивалась на вопросах наибольшей, как

мне представлялось, научной значимости и срочности. (...) Побывав на пороге 38-го года в Вене у Трубецкого, сосредоточенно работавшего над своей книгой об основах фонологии (*Grundzüge der Phonologie*), я отчетливо осознал, что идея фонологической системы продолжает грешить злополучной фрагментарностью, пока положенный в ее основу принцип двучленных оппозиций не проведен до конца. Может быть, в моей жизни не было такого лихорадочного наплыва новых исканий и мыслей, как в начале 38-го года» [Якобсон, Поморска 1982: 25].

Начиная с лета 1938 г. Якобсон в течение нескольких лет находился в состоянии почти непрерывного «бега» впереди наступающих немецких войск: Дания, Норвегия, Швеция, пока наконец летом 1941 г. он не оказался в Нью-Йорке. Именно в этом состоянии перманентного «транзита» (выразительно описанном в одноименном романе Анны Зегерс) им была создана теория двенадцати универсальных фонологических признаков.

Опубликованная в Швеции в 1941 г. на немецком языке, книга Якобсона развертывала новые перспективы, открывшиеся перед освобожденной от последних эмпирических пут чистой мыслью, с подобающей торжественностью: «Кто бы ребенок ни был — француз либо скандинав, англичанин либо славянин, индус или немец, эстонец, голландец или японец, — во всех исследованиях, заслуживающих именоваться таковыми, вновь и вновь находит себе подтверждение тот факт, что *относительная последовательность* во времени усваиваемых ребенком отдельных звуков остается всегда и повсюду одинаковой» (курсив автора. — Б. Г.) [Jakobson 1941: 32—33].

Система универсальных фонологических признаков знаменовала собой дальнейшее погружение в теоретический концепт «в себе», в такую его глубину, на которой исчезали последние его связи с поверхностью языковой эмпирии. Важным шагом в этом преодолении эмпирических видимостей явился переход от фонемы к дифференциальному признаку в качестве центральной единицы фонологического моделирования. Фонема, отличаясь от физических звуков своей системной природой, тем не менее находила прямое соответствие в звуковых единицах, понимаемых как ее манифестации в речи; но дифференциальный признак отсылал к концепту, у которого не было непосредственной феноменальной манифестации.

В учении Якобсона фонологические признаки фактически задаются априори, подобно категориям чистого разума у Канта. Отличие заключается в том, что последние определяли всеобщий характер теоретического познания, тогда как априорное фонологическое построение у Якобсона относилось к конкретному познаваемому объекту — звуковому строю языка. Кант определяет отношение теоретического познания к познаваемому миру; Якобсон пересоздает сам этот мир в категориях теоретической мысли, постулируя действительность такой, какой она предстает в параметрах, заданных самой этой мыслью. Все, что может лежать за пределами этой мыслительной действительности, о чем продолжают напоминать «голоса пессимистов, отчаявшихся в возможности точного знания о прошлом, настоящем и будущем языка», выглядит в этой перспективе исчезающе малым и незначительным. На «наивный» вопрос такого пессимиста (в роли которого выступает в этом случае Мартине): кто может претендовать на то, чтобы дать исчерпывающий отчет о данных всех существующих языков, не говоря уже о тех, которые бесследно исчезли с лица Земли? — автор отвечает с демонстративным пренебрежением: нельзя исключить, конечно, что где-нибудь «в джунглях Бразилии» мог бы сыскаться язык, строй которого не вполне укладывался бы во всеобщую систему; это, однако, могло бы иметь для лингвистической теории лишь то значение, какое для биологии имело открытие «смешанных» видов, таких как «австралийская ехидна или тасманский утконос», — они только подтверждали всеобщую классификацию [Jakobson, Waugh 1979: 61]. (Именно утконосу, вместе с Кантом, суждено будет стать главным героем книги Умберто Эко [Есо 1999], посвященной вопросу том, как язык взаимодействует с практическим опытом.)

По мере того как структурная лингвистика 1920—1950-х гг. активно занималась обустройством созданного ею заповедного пространства имманентной структуры языка, оно

заполнялось все более конкретными подробностями, между которыми в свой черед неизбежно стали обнаруживаться несоответствия и противоречия. Иначе говоря, условная действительность «в себе», сконструированная теорией, начала обнаруживать беспокоящее сходство с тем самым «внешним» хаосом, от которого она вначале, как казалось, так решительно эмансипировалась. Сколько гласных фонем в русском языке? — ответить на этот вопрос невозможно, не прибегнув к тем или иным чисто манипулятивным приемам («нейтрализация», «архифонема», «фонемный ряд» и т. п.), каждый из которых в свою очередь выявляет в системе новые неловкие швы и амбивалентности. Структуральный синтаксис, сформулировав фундаментальный принцип зависимости, оказался неспособен, в сущности даже не пытаясь, выстроить все многообразие возникающих на базе этого принципа синтаксических построений в единую систему. Теория Якобсона создавала в имманентном пространстве структурной лингвистики, к этому времени потерявшем вид безупречного рационального конструкта, внутреннее, поистине сокровенное пространство, характеризующееся новым уровнем абстрактности, и соответственно, концептуальной чистоты. Сделанный Якобсоном шаг в сторону бескомпромиссной априорности «глубинных» сущностей языка определил кризис структурной лингвистики и тем самым подготовил возвышение пришедшей ей на смену генеративной грамматики.

Генеративная грамматика совершила прорыв в области синтаксиса, аналогичный тому, который теория Якобсона осуществила по отношению к структурной фонологии: она эмансипировала синтаксические структуры от относительно прозрачной связи с эмпирической поверхностью высказывания. «Структурный порядок» предложения, описывавшийся структуральным синтаксисом, не был тождествен его «линейному порядку» в речи [Tessière 1959], однако между ними сохранялась непосредственная связь, определяемая возможностью взаимного конвертирования. Но глубинная синтаксическая структура уже полностью отделялась от эмпирического высказывания как чистый мыслительный конструкт, который невозможно непосредственно «увидеть» в существующем предложении. Генеративной теорией это разделение мыслительного и перформативного начала полностью сознавалось и всячески подчеркивалось. Глубинная структура была провозглашена врожденной языковой способностью, запрограммированной в сознании до и независимо от какого-либо языкового опыта — именно провозглашена как коренное убеждение, без которого был бы невозможен «разумный» подход к языковой компетенции говорящих. Риторика «Аспектов теории синтаксиса» насыщена пафосом отвержения эмпирических тривиальностей перед лицом всепобеждающих аргументов чистого рационализма: «Если принять во внимание характер усваиваемой грамматики и дефектное (degenerate) качество и крайне ограниченный набор наличных данных, ... едва ли приходится рассчитывать на то, что структура языка могла быть усвоена организмом, который не обладал бы изначальной информацией о ее общем характере. (...) Несомненно, нет никаких оснований принимать всерьез позицию, в силу которой это сложное достижение всецело приписывается месяцам (или в лучшем случае годам) опыта, а не миллионам лет эволюции принципов организации нейронов, которые, возможно, имеют еще более глубокую укорененность в законах физики» (перевод наш. — Б. Г.) [Chomsky 1965: 58—59].

Ровно за два столетия до классического трактата Ноама Чомски¹⁴ Иоганн Петер Зюссмильх, пастор, философ и математик, выступил с неопровержимым, по его мнению, доказательством, что язык не мог быть создан самим человеком, а по необходимости должен был быть дан ему Богом. Убеждение Зюссмильха покоится на тех же основаниях, что и аргументация Чомски: он указывает на необыкновенную структурную сложность языка (этой великолепной машины, перед которой меркнут даже такие чудеса современной технологии, как новейшие модели часов, показывающих время дня с точностью до секунды, месяц, год,

¹⁴ Начиная с первых изданий на русском языке работ основателя генеративной грамматики в русскоязычной научной традиции закрепилась русифицированная передача его имени: Хомский. Мне хотелось бы уклониться от этого употребления.

фазу луны и т. д.), сопоставляя ее с фактами человеческого неразумия, ничуть не препятствующего, однако, безупречному владению этой супермашиной. Посмотрите на обитателей Гренландии, восклицает автор: эти несчастные люди, задавленные суровыми условиями существования, находятся на уровне развития, ненамного отличающем их от медведей и тюленей, на которых они охотятся, а между тем их язык ничуть не уступает в сложности европейским или даже их превосходит. «Жалкие гренландцы, чумазые [schmutzige] готтентоты, многосложные ориноки, уклончивые татары, утонченные китайцы, японец и его антипод, караиб, — все говорят на упорядоченном языке» [Süßmilch 1766: 71]. У Чомски место Бога заняли «миллионы лет эволюции», что в сущности то же самое, если принять во внимание чисто спекулятивный характер того, каким образом эта эволюция, какой бы она ни была, соотносится с построениями генеративной грамматики.

3. Теоретическая мысль «в себе и для себя» как модель самосознания

Творческий порыв авангарда в начале минувшего века обещал радикальное преображение материального, социального и духовного существования. Разрушая привычный строй мысли (а в наиболее радикальных своих проявлениях — и привычный строй жизни), авангард стремился прорваться к «подлинной» действительности, ее коренной сущности, скрытой под спудом рутинных представлений и привычек повседневности. Однако мессианский настрой авангарда, пройдя через катастрофический опыт 1920—1930-х гг., постепенно приобретал иную, в сущности прямо противоположную — охранительную, терапевтическую, защитную направленность. Из дерзкого вызова бессмысленному эмпиризму формула «в себе и для себя» все более превращалась в последнее убежище разумного начала. В заповедном пространстве за стеной блистательных абстракций мысль оказывалась вне досягаемости для прагматических банальностей, ныне обнаруживших свою угрожающую природу в качестве «банальности зла» (Ханна Арендт)¹⁵. Бескомпромиссное отторжение рутины повседневности, некогда знаменовавшее собой авангардный прорыв в будущее, все явственнее становилось средством интеллектуального, а во многих случаях и физического выживания. Почти чудесное спасение Якобсона, оказавшегося, подобно многим ведущим деятелям авангарда 1920-х гг., вынесенным на «экзотический» (с точки зрения европейского культурного ландшафта начала века) берег послевоенной Америки, как бы персонифицировало этот символический сюжет.

В первые послевоенные десятилетия к описанному здесь процессу добавился еще один нюанс. Его в свое время афористически выразил Т. Адорно в ставшем знаменитым (в неточной передаче) изречении: «Не может быть поэзии после Освенцима»¹⁶. «Поэзию» можно в данном случае понимать как наиболее яркую эмблему культуры в целом, пиетет перед которой оказался подорванным теми чудовищами, которые она оказалась способной породить. Сам Адорно пронизательно указывал на то, как отсутствие ритуального поклонения перед этим идолом европейского самосознания нового времени, поразившее его в Америке, помогло ему освободиться от «наивной веры в культуру» [Buck-Morss 1977: 187]. Сходное мироощущение во многом определяло самосознание поколения, вступавшего на авансцену интеллектуальной жизни в 1950—1960-е гг. Над всей интеллектуальной традицией, всеми понятиями о разумном и духовно ценном нависло подозрение в роковом изъязне, позволившем совершиться тому, что совершилось. Клодин Норман в недавней книге о Соссюре [Normand 2000: 10] вспоминает, как ее поколение с восторгом открывало для себя заново «радикальный модернизм» соссюровского «Курса» в одном ряду с идеями Фрейда, Маркса

¹⁵ Выражение, ставшее идиомой, восходит к заглавию книги [Arendt 1963].

¹⁶ В самом тексте Адорно мысль выражена более резко — писание «стихов» после Освенцима объявляется «варварством»: «Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch» [Adorno 1997].

и Ницше¹⁷. Поколение Норман увидело в них мощный вызов не просто интеллектуальной рутине, но всему стоящему за ней культурному, моральному и социальному порядку, фатально скомпрометированному в их глазах тем, что в рамках этого порядка оказались возможными ужасы недавнего прошлого. К научной традиции это относилось в такой же мере, как к миру культурной «мифологии», комфортно окружавшей повседневную жизнь буржуазного общества, которую Ролан Барт выставил на всеобщее обозрение своим язвительным анализом [Barthes 1957]. Даже идиоматическая инфраструктура языка — в частности, языка, которым выражала себя традиционная наука, — несла на себе груз памяти о том, как этот самый язык, эти самые его идиомы и обороты научной и вообще всякой культурно кодифицированной речи оказались вполне пригодными для службы тому, что Кант в одной из своих поздних работ назвал «радикальным злом» [Kant 1793/1914: 43].

Возникло стремление начать все как бы с нуля, с чистой страницы, одним шагом вступив в новый духовный мир, выражающий себя на новом научном языке, зачастую попросту непонятном традиционной науке. Сама эта идея радикального очищения и обновления была авангардной по своей природе. В этой атмосфере идея имманентной теории «в себе и для себя» получила новый мощный творческий импульс, определивший и бурное развитие структурной и генеративной лингвистики, и расцвет поэтики и структурно ориентированной семиотики культуры в 1950—1970-х гг.

В послесталинском Советском Союзе, с его памятью о десятилетиях террора и войны, на фоне которых скомпрометированные формулы установленного порядка на глазах превращались в выхолощенный ритуал¹⁸, этот умышленный настрой находил особенно благодарную почву. Конечно, из пантеона имен, обозначенного Норман в качестве интеллектуальных вех нового поколения на Западе, Ницше и Фрейд оставались малодоступны его восточноевропейским коллегам, тогда как Маркс, даже в де-ритуализированной западной версии, лишь для немногих способен был послужить источником обновления. Тем более широкое и всеобъемлющее значение в этом ставшим полупустым референтном поле приобретала идея «науки» и «научности» как некоего четко очерченного пространства, подлежащего своим собственным законам и внеположного неразумному хаосу повседневности.

Идея универсального научного языка, возвышающегося над особенностями субстанционального содержания конкретных предметов познания, становится повсеместным идеалом, вдохновляющим лингвистов, специалистов в области поэтики и литературной теории и историков культуры¹⁹. Теоретической лингвистике в этом процессе отводилась особая роль как дисциплине, уже выработавшей развитый аналитический аппарат и в этом отношении более других гуманитарных штудий приблизившейся к идеалу «точной науки». Массовое вторжение в сферу гуманитарных исследований терминов и приемов лингвистических исследований, в том числе ориентировавшихся на аппарат математической логики, делала сам язык нового направления непонятным для непосвященных, даже при доскональном знании самого предмета исследования. Лингвистическое моделирование воспринималось в качестве методологического флагамена широкого ряда исследований в таких разнообразных областях, как точные методы изучения стиха, структурная поэтика и аналогичное ей структурное описание музыки и визуальных искусств, моделирование архаического мифологического сознания, наконец, изучение различных аспектов «знакового» социального поведения.

Построенная на твердых методологических основаниях (наивысшим образцом для которых, к коему надлежало по возможности приблизиться, служили принципы математического

¹⁷ Это референтное поле было в особенности характерно для группы радикально настроенных философов, теоретиков литературы и социологов, объединявшихся вокруг журнала «Tel quel». Выразительно об атмосфере интеллектуального и политического радикализма, царившей в журнале в 1960-е годы, рассказал в своих мемуарах Ж. Тибодо [Thibaudau 1994].

¹⁸ Прекрасный анализ этой черты позднесоветского времени содержится в работе [Юрчак 2014].

¹⁹ Одним из ярких манифестов этого направления мысли стала программная статья Ю. М. Лотмана [1963] «Литературоведение должно стать наукой».

доказательства и алгоритмического исчисления), теория предлагала мыслительный конструкт, способный представить все сущее в параметрах универсального порядка, покоящегося на строгих основаниях логического вывода. Что это «все сущее» было именно тем, что теоретическая мысль могла и хотела объяснить, тем, что сама она готова была признать проблемой, подлежащей разрешению, не представлялось сколько-нибудь обременительным ограничением, ввиду интеллектуально крайне низкого и даже морально скомпрометированного характера той «внесистемной», «прагматической», «оказиональной» реальности, которую теория была готова отбросить. В работах Чомски с особенной явственностью звучит презрение к «дегенеративному» миру речевой повседневности, будь то общение ребенка с родителями, в процессе которого он приобщается к языку, или те логически нелепые либо двусмысленные и грамматически дефектные речевые артефакты, которыми говорящие потчуют друг друга за стенами классной комнаты MIT.

Я не вижу необходимости останавливаться на конкретных явлениях теоретической лингвистики и семиотики 1960—1970-х гг., в которых как сама установка на концептуальную имманентность мысли, так и ее защитные и протестные социально-психологические подтексты проявлялись с тем большей яркостью и остротой, чем сильнее черты бессмысленной выхолощенности и ритуального лицемерия проступали в утвердившейся социальной и идеологической действительности. Эти явления повсеместно известны; по сути, они представляли собой лучшее, что дала гуманитарная мысль трех послевоенных десятилетий и в области теоретической лингвистики, и в сфере изучения литературы и культуры. В поле настоящего обзора не входят также новые направления в изучении языка, развившиеся в последние 25—30 лет (когнитивная лингвистика, анализ дискурса, корпусная лингвистика), существенно преобразившие поле лингвистических исследований. Они принадлежат новой главе в истории лингвистической мысли.

Что наш краткий обзор стремился показать — это то, как имманентно структурирующий подход к языковому, художественному и социальному общению, возникнув под знаком авангардной эмансипации творчески конструирующей мысли от диктата повседневной действительности, постепенно, как силою обстоятельств, так и в силу внутренней логики своего развития, сам превратился в аксиоматически нерелексирующее мироощущение — своего рода альтернативную действительность, мыслительный «дом», обитатели которого все менее чувствовали себя расположенными его покидать по какому бы то ни было поводу. Парадоксальным образом, это мироощущение, исповедующее имманентную чистоту теоретического знания, вышло далеко за пределы чисто интеллектуальной сферы, превратившись в идеологическую позицию, пронизывающую собою самосознание и жизненное поведение его носителей. Ни в одной сфере познания феноменов духовной и социальной жизни это явление не проявилось с такой силой и с такой последовательностью, как в сфере теоретической лингвистики XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Лотман 1963 — Лотман Ю. М. Литературоведение должно быть наукой // Вопросы литературы. 1963. № 3. С. 44—52. [Lotman Yu. M. Study of literature must be a science. *Voprosy literatury*. 1963. No. 3. Pp. 44—52.]
- Лотман 1996 — Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1996. [Lotman Yu. M. *Vnutri myslyashchikh mirov: chelovek — tekst — semiosfera — istoriya* [Within thinking worlds: Man — text — semiosphere — history]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury, 1996.]
- Слюсарева 1975 — Слюсарева Н. А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики. М.: Наука, 1975. [Slyusareva N. A. *Teoriya F. de Sossyura v svete sovremennoi lingvistiki* [F. de Saussure's theory in the light of modern linguistics]. Moscow: Nauka, 1975.]
- Трубецкой 1920 — Трубецкой Н. С. Европа и человечество. София: Русско-болгарское книгоиздательство, 1920. [Trubetskoi N. S. *Evropa i chelovechestvo* [Europe and mankind]. Sofia: Russko-Bolgarskoe Knigoizdatel'stvo, 1920.]

- Трубецкой 1927/1999 — Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999. [Trubetskoi N. S. *Nasledie Chingiskhana*. [The legacy of Genghis Khan]. Moscow: Agraf, 1999.]
- Тынянов, Якобсон 1928 — Тынянов Ю. Н., Якобсон Р. О. Проблемы изучения литературы и языка // Новый ЛЕФ, 1928. № 12. С. 35—37. [Tynyanov Yu. N., Jakobson R. O. Problems of literary and linguistic studies. *Novyi LEF*. 1928. No. 12. Pp. 35—37.]
- Шкловский 1917 — Шкловский В. Б. Искусство как прием // Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1. Петроград: 18-я Государственная Типография, 1917. С. 1—13. [Shklovskii V. B. Art as a device. *Sborniki po teorii poeticheskogo yazyka*. No. 1. Petrograd: 18-ya Gosudarstvennaya Tipografiya, 1917. Pp. 1—13.]
- Юрчак 2014 — Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. М.: НЛО, 2014. [Yurchak A. *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos'* [Everything was forever, until it was no more]. Moscow: NLO, 2014.]
- Якобсон 1921/1981 — Якобсон Р. О. О художественном реализме [Jakobson R. O. On artistic realism]. Jakobson R. *Selected writings*. Vol. III. The Hague: Mouton, 1981. Pp. 723—731.
- Якобсон, Поморска 1982 — Якобсон Р., Поморска К. Беседы. Jerusalem: The Magnes Press, 1982. [Jakobson R., Pomorska K. *Besedy* [Conversations]. Jerusalem: The Magnes Press, 1982.]
- Adorno 1997 — Adorno T. *Kulturkritik und Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997.
- Arendt 1963 — Arendt H. *Eichmann in Jerusalem: A Report on the banality of evil*. New York: Viking Press, 1963.
- Barthes 1957 — Barthes R. *Mythologies*. Paris: Seuil, 1957.
- Buck-Morss 1977 — Buck-Morss S. *The origin of negative dialectics: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin and the Frankfurt Institute*. New York: Free Press, 1977.
- Bouquet 1997 — Bouquet S. *Introduction à la lecture de Saussure*. Paris: Payot & Rivages, 1997.
- Chomsky 1965 — Chomsky N. *Aspects of the theory of syntax*. Cambridge (MA): MIT Press, 1965.
- De Mauro 1967 — De Mauro T. Noizie biografiche e critiche su Ferdinand de Saussure. de Saussure F. *Cours de linguistique générale*. Édition critique préparée par T. de Mauro. Paris: Payot, 1967. Pp. 283—354.
- Eco 1999 — Eco U. *Kant and the platypus: Essays on language and cognition*. San Diego: Harcourt, 1999.
- Firth 1964 — Firth J. R. Personality and language in society. Firth J. R. *Papers in linguistics, 1934—1951*. London: Oxford Univ. Press, 1964. Pp. 177—189.
- Gasparov 1987 — Gasparov B. The ideological principles of Prague school phonology. *Language, poetry, and poetics. The generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovskij*. Pomorska K., Chodakowska E., McLean H., V. Brent (eds.). Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1987. Pp. 49—78.
- Gasparov 2013 — Gasparov B. *Beyond Pure Reason: Ferdinand de Saussure's philosophy of language and its early romantic antecedents*. New York: Columbia Univ. Press, 2013.
- Gautier 2005 — Gautier L. Entretien avec M. de Saussure, 6 Mai 1911. *Cahiers F. de Saussure*. 2005. Vol. 58. Pp. 69—70.
- Godel 1957 — Godel R. *Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure*. Genève: E. Droz, 1957.
- Harris 2001 — Harris R. *Ferdinand de Saussure and his interpreters*. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2001.
- Jakobson 1941 — Jakobson R. *Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze*. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1941.
- Jakobson 1960 — Jakobson R. Closing statement: Linguistics and poetics. *Style in language*. Sebeok Th. A. (ed.). New York: Wiley, 1960. Pp. 350—377.
- Jakobson, Waugh 1979 — Jakobson R., Waugh L. *The sound shape of language*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1979.
- Kant 1793/1914 — Kant E. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. *Kants Werke*. Bd. VI. Berlin: Georg Reimer, 1914.
- Normand 2000 — Normand C. *Saussure*. Paris: Les belles lettres, 2000.
- Prauss 1974 — Prauss G. *Kant und das Problem der Dinge an sich*. Bonn: Herbert Grundmann, 1974.
- Saussure 1967 — de Saussure F. *Cours de linguistique générale*. Édition critique préparée par T. De Mauro. Paris: Payot, 1967.
- Saussure 1968 — de Saussure F. *Cours de linguistique générale*. Édition critique par R. Engler. T. 1. Wiesbaden: Harrassowitz, 1968.
- Saussure 1994 — de Saussure F. *Manuscripti di Harvard, a cura di Herman Parret*. Roma: Laterza, 1994.
- Saussure 2002 — de Saussure F. *Écrits de linguistique générale*, compiled and edited by S. Bouquet, R. Engler. Paris: Gallimard, 2002.
- Saussure 2003 — de Saussure F. «La légende de Sigfrid et l'histoire Burgonde», publ. by Béatrice Turpin. *L'Herne Saussure*. Bouquet S. (ed.). Paris: l'Herne, 2003. Pp. 360—429.

-
- L. Saussure 1899 — de Saussure L. *Psychologie de la colonisation français dans les rapports avec les sociétés indigènes*. Paris: F. Alcan, 1899.
- Sljusareva 1971 — Sljusareva N. Deux lettres de Ferdinand de Saussure à Baudouin de Courtenay. *Cahiers F. de Saussure*. 1971. Vol. 27. Pp. 7—17.
- Süßmilch 1766 — Süßmilch J. P. *Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht von Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe*. Berlin: Buchladen der Realschule, 1766.
- Tesnière 1959 — Tesnière L. *Éléments de syntaxe structurale*. Paris: C. Klincksieck, 1959.
- Thibaudeau 1994 — Thibaudeau J. *Mes années Tel Quel*. Paris: Écriture, 1994.
- Wittgenstein 1921/1974 — Wittgenstein L. *Logisch-philosophische Abhandlung (Tractatus logico-philosophicus)*. New York: Humanities Press, 1974.
- Wittgenstein 1953 — Wittgenstein L. *Philosophisches Untersuchungen / Philosophical investigations*. New York: Macmillan, 1953.

Получено / received 09.07.2016.

Принято / accepted 27.09.2016.